

MODUS VIVENDI

Ольга Седакова: «С нежностью и глубиной, ибо только нежность глубока»

Имя Ольги Седаковой в представлении не нуждается. Поэт, философ, богослов, фольклорист, лингвист, литературовед etc. — она сегодня олицетворяет ту традицию нашей отечественной культуры, которая позволила когда-то России вписаться в общемировой масштаб и даже в какой-то степени раздвинуть его границы. Дело не в приоритетах, а в том, что условно можно назвать залогом нашей жизнеспособности. Модель поведения, выбранная Ольгой Седаковой, еще раз убеждает, что для русской культуры в качестве таких надежных залогов выступают универсализм и открытость, практикуемые на всех уровнях личного существования — от бытового до духовного. Впрочем, в данном случае границы, разделяющей «родное» и «вселенское», практически не существует.

Диалоги, которые происходят на «воздушных путях», отмечают «прочь» «и время, и пространство».

Предлагаемые материалы приоткрывают одну из граней существования Ольги Седаковой — возможно, частную...

Однако, думается, именно в этой частности раскрывается подлинный диапазон человека.

Мы публикуем подборку писем Ольги Седаковой к ижевскому поэту Владу Шихову. Знакомство В. Шихова с О. Седаковой началось в 2004 году. В это время молодой поэт был уже автором лирической книги «Тени», вышедшей в 2000 году в издательстве «Удмуртия». Поводом для обращения к Ольге Седаковой стала просьба о предисловии ко второй книге В. Шихова «Руны» (Ижевск, 2005). Просьба была удовлетворена. И завязалась переписка. Помимо деловой стороны проблемы, которая в данной публикации пропускается, в письмах Седаковой к Шихову осуществился серьезный разговор о состоянии сегодняшней культуры. Значительная часть этой культуры, не успев стать ее органической составляющей, на наших глазах практически канула в небытие. На нынешнем эпохальном рубеже один за другим уходили друзья, коллеги и единомышленники Ольги Седаковой: В. Кривулин, С. Аверинцев, В. Биbihин, В. Лапин...

Эмоция пронзительной утраты все-таки не помешала Ольге Седаковой и «возделывать свой сад», и щедрым одобрением ободрить ближнего.

Кроме писем Ольги Седаковой к Шихову здесь публикуются ее философско-эссеистические отклики на смерть друзей, которые сформировали особый духовный зон двух поэтов — одного состоявшегося, а другого — почти эфеба.

Штрих к портрету Владимира Лапина, неоднократно выступавшего эпистолярным посредником между Ольгой Седаковой и Владом Шиховым, дополняется фрагментом совсем свежих воспоминаний Седаковой, которыми она поделилась с редколлекцией нашего выпуска.

Поэтический триптих Шихова «Страва», думается, органично закольцовывает данный сюжет, где причудливо переплелись судьбы разных людей и поколений, вобравших в себя исторический опыт «не календарного Двадцатого Века». Этот опыт ко многому обязывает — прежде всего, к памяти как непререкаемому нравственному императиву.

М. В. Серова



Уважаемый Владислав Федорович,
спасибо Вам за доверие, с которым Вы обратились ко мне.

Я могу сразу же сказать, что Ваши стихи произвели на меня впечатление несомненной одаренности — так что спасибо Вам за такую редкую теперь радость! То, что мне приходится читать в последние годы, обычно удручает своим бессилием, бесцельностью, безличностью — в каком бы стиле это ни делалось, в ироническом или патетическом, традиционном или постмодернистском. Всё тонет в эпигонстве. Так что я понимаю Ваше отношение к идеям Х. Блума*. Но я их несколько не разделяю. Я вижу в них только чрезвычайно характерный для нашей эпохи взгляд, «борьбу с отцами» и страх за себя — как будто ничего дороже у человека не бывает. Блум не установитель вечных законов — один из множества теоретиков вполне определенного толка. Именно таких «актуальность» выбирает в оракулы. Ей же хуже. Талант не знает и никогда не знал этого пресловутого страха влияния — посмотрите на Моцарта, посмотрите на Пушкина: сколько в них «влияний» и заимствований — а кто свободнее их при этом? Не от влияний требуется освободиться, чтобы сказать свое слово. От внутренней рутины, от дезориентации, от неуверенности в том, что тебе, собственно, надо: не вообще, а вот именно в *этом* ритме, в *этом* слове, в *этой* форме. От разных страхов (например, от страха быть «несовременным»). Вот в *этом* месте: говорю ли я то, что хочу — или за меня говорит чье-то готовое слово?

* Речь идет о книге Х. Блума «Страх влияния. Теория поэзии. Карта перечитывания» (Екатеринбург, 1998).

Искусство запрещает повтор, естественно. После Манделъштама писать, как до него, или как он (что, впрочем, невероятно) нелепо и, я бы сказала, нечестно. Но вовсе не потому, что требуется побить всех «мертвых поэтов» и современников. А потому, что если нечего сказать кроме уже сказанного, лучше помолчать. Я всегда любила «мертвых поэтов» — и «мертвыми» их не считала. Если уж кто был мертвым, то не они. Как у Овидия:

Сколько поэтов, столько, мнил я, жрецов.

Судя по Вашим стихам, я не думаю, что Вы не знаете это счастливого общения «на воздушных путях». Какой «давящий пласт предшественников»? Это круг родных. Я думаю, что прежде чем Вы собрались «вооружиться» против коллег, «чтобы сохранить для себя полноценную отдушину поэзии», Вы успели их любить — и не от любви и почтения требуется спастись. <...>

Вероятно, Вы чувствуете «страх» потому, что в них еще нет какой-то последней определенности, совсем прямого высказывания. Но такие вещи возникают не по собственно литературным причинам, не от «освобождения от влияний» — скорее уж от освобождения от страхов, и страха влияния в том числе. Не слушайте оракулов наших дней. Вы, как видно из стихов, читали вещи получше.

Всего Вам доброго! <...>

С уважением

Ваша

ОС

* * *

Дорогой Владислав <...>

Я в последнее время в печальном состоянии из-за смерти С. С. Аверинцева*: он был самым моим дорогим собеседником, самым родным по уму. Так что много писать мне сейчас трудно. Я решила послать Вам переводы из Пауля Целана (по большей части неопубликованные) и заметки о нем. Для меня это последняя настоящая новизна в европейской поэзии — и сами мои знакомые европейцы так думают. Кстати, вот кто был под влиянием — Манделъштама, до такой степени, что иногда считал себя его новой инкарнацией, и ничуть этого не боялся. После Целана там тоже началось море эпигонства.

Всего Вам доброго!

ОС

* Сергей Сергеевич Аверинцев (р. 10.12.37) умер 21 февраля 2004 г.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

...RAUSCHT DER BRUNNE

...ДЫМ РОДНИКА

Вы молитвенно-, вы кощунственно-, вы
молитвенноострые лезвия
моего
молчанья.

Вы мои и со мной заодно из-
увеченные слова, вы
мои точные.

И ты:

ты, ты, ты
мое ежедневно верней и верней
увядающее Когда-нибудь
роз —:

Сколько, о сколько
мира. Сколько
дорог.

Костыль ты, крыло. Мы —

Детскую песенку что ли споем, ту,
послушай-ка, ту,
где про чело, про века, где про человека, да ту,
где кустарник, где
пара глаз, лежащих уже наготове, как
слезы — и —
слезы.

COAGULA

И твоя
рана, Роза.

И света рожок из твоей
румынской хибары
на месте звезды над
сугробом, в го-
ворящей, крас-
нопепельномощной
колбе.

EIN DRONNEN: ES IST

Странный гул: сама
правда
вступила
в среду людей
внутри
вьюги метафор.

GRABSCRIFT FUR FRANCOIS
НАДГРОБЬЕ ФРАНСУА

Обе двери мира
настежь распахнуты:
это ты их открыл
в сумерках.
Мы слышим: они стучат и стучат
и выпускают неведомо что
и выпускают зелень в твое Навсегда.

СНУМISH
ХИМИЯ

Молчанье, как золото варится, в
углях ладоней.

Серый, огромный,
близкий, как все что утрачено,
сестринский образ:

все имена, все с вами вместе
сожженные
имена. Сколько
пепла чтоб благословлять его. Сколько

земли завоеванной
над легкими легкими
кольцами
душ.

Серый. Огромный. Без
остатка.
Ты, тогда.
Ты, с поблекшим
бутоном закушенным.
Ты в винной струе.

(Не так ли? и нас
эти часы отпустили.
хорошо
хорошо, что слово твое здесь и при нас умирало)

Молчанье, как золото сварено, в
углях, углях
ладоней.
Пальцы, ушедшие в дым. Как венцы, ореолы из воздуха
у —

Огромный. Серый. Без-
следный.
Цар-
ственный.

Es ist nicht mehr.

Это больше не
та
постепенно с тобой
часу на дно уходившая
тяжесть. Это
другая.

Это вес, приносящий назад пустоту,
спут-
ницу твою.
Он, как ты, безымянен. Быть может,
вы оба одно. Быть может,
ты однажды меня назовешь
так.

Цюрих, гостиница «У Журавля»

О слишком многом шла речь, о
слишком малом. О тебе
и тебе-еще, о
помрачении ясности, о
еврейском, о
твоем Боге.

Об
этом.

В день Вознесения, и
собор напротив, он пришел
с горсточкой золота и бросил в воду.

О твоём Боге шла речь, и я говорил
против Него, я
позволил сердцу, какое есть у меня,
надеяться:
на
Его
лучшее, разъяренное, на Его
раздирающее слово —

глаз твой посмотрел на меня, в сторону,
рот твой
сказал глазам, я услышал:

Мы
ведь не знаем, ты знаешь,
мы
ведь не знаем,
как
там.

Einmal

Однажды,
я слышал его,
он мыл этот мир,
невидимый, ночь напролет,
воистину.

Раз и До — без — конца,
уничтожаем,
аим.

Свет был. Спасенье.

Du warst mein Tod

Ты был моя смерть:
тебя
я мог держать,
когда все от меня отпало.

IRISCH

Дай мне право прохода
по зерноступеням в твой сон,
право прохода
по соннотропе,
право, чтобы срезал я торф
на склоне сердца
наутро.

Tau. Und ich lag mit dir

Роса. И лежу я с тобой, ты, в отрепьях,
слякотный месяц
нас залепляет ответом,

мы отгрохались с тобой друг от друга
и снова скрохались в одно:

Господь преломляет хлеб,
хлеб преломляет Его.

MACHTE, GEWALTEN СИЛЫ, ВЛАСТИ

За ними, в бамбуке:
Лающая проказа, оркестр.

Винсентов подарок,
ухо
дошло по адресу.

STEHEN IN SHATTEN

Стоять в тени
шрама воздуха.

Никого — ничего — не ради — стоять.
Неопознанным,
ради тебя
одного.

Со всем, что это вместило бы
и без
речи.

BEI TAG ДНЕМ

Заячьей шкурки небо. Как прежде
ясное пишет крыло.

Я тоже, запомни,
цвета
пыли, я пришел
как журавль.

WIE DU DICH AUSSTIERBT

Как ты во мне вымираешь:

уже в последнем
изношенном
узле дыханья
ты стоишь
с осколком
жизни.

ICH KANN DICH NOCH SEHEN

Я все еще вижу тебя: это эхо,
уловимое лото-
словами,
на гребне
прощанья.

Лицо твоё тихо робеет,
когда оно вдруг
во мне наполняется светом, как лампа,
там, на месте,
где горше всего говорят: Никогда.

DIE IRIN
ИРЛАНДКА

Ирландка, замаранная разлукой,
читает руку твою
быстрее
быстроты.

Синева ее взглядов ее прорастает,
потеря и завоевание
в одном:

ты,
пальцеокая
даль.

INN RITT DIE NACHT
НОЧЬ ОСЕДЛАЛА ЕГО

Ночь оседлала его и скачет верхом, он в уме,
сиротское рубище — флаг.

больше не сбиться, не сбиться —
он к цели гоним

так это, так это, будто в волчках апельсины
будто на том, кто гоним и оседлан, уже ничего
кроме собственной
первой
в пятнах родимых, та-
инственномеченой
кожи.

СТРЕТТА

Доставлены в
нужную область
с безошибочным следом:

Трава, письмо друг по другу. Камни, белые,
в тенях стеблей:
дальше ты не читай — смотри!
дальше не смотри — иди!

Иди, ибо твой час
не знает сестер, а ты —
ты дома. Медленно, колесо
вращается собственной силою, спицы
взбираются
взбираются по чернявому полю, ночь
не нуждается в звездах, нигде
никто о тебе не спросит.

*

Нигде
никто о тебе не спросит —

Место, где лежат они, у него
есть какое-то имя — у него
никакого имени. Они не лежат здесь. Нечто
лежит между ними. Они
не смотрели сквозь это.

Они не смотрели, нет,
говоря о
словах. Ничто
не пробудилось, он,
сон
пришел к ним.

*

Пришел, пришел. Нигде
никто не спросит

Я это, я,
я лежал между ними, я был
открыт, был
слышим, я тикал для вас, дыхания вашего
слушался, я
это я еще, вы
спите здесь.

*

Это я еще

Годы.
Годы, годы, мой палец
шарит вверх, шарит вниз, шарит
около:
догоняя, наощупь, вот здесь
оно разверзается, здесь
оно снова срывается — кто
это прикрыл?

*

Прикрыл это
— кто?

Пришло, пришло.
Слово пришло, пришло,
пришло сквозь ночь,
оно хотело светить, хотело светить.

Пепел.
Пепел, пепел.
Ночь.
Ночь — и — ночь. Ты к
глазу иди, к влажному.

*

Ты к
глазу иди,

к влажному —

Бураны.
Бураны, от века,
воронка частиц, а другое,
ты
знаешь об этом, и мы
читали в книге, другое было
только мнением.

Было, было
мнением. Как
мы касались друг друга
как при-касались —
этими
руками?

Так и было записано, это.
Где? Мы
молчаньем его застелили,
тихоотравным, большим,
зе-
леным
молчанием, чашелистником, со
скрепленной с ним мыслью растения —

зеленой, да,
скрепленной, да,
под безжалостным
небом.

С мыслью, да,
растения.

Да.
Бураны, во-
ронки частиц, оставалось
время еще, оставалось
с камнем его попытать — он
был приветлив, он не
падал в слово. Как с этим
нам повезло:

зерноватый,
зерноватый и волокнистый. Стеблистый,
плотный;
кистевидный, лучистый; в почках,
сглаженный и
комковатый, рыхлый, и раз-
ветвленный —; он, это
не давалось словам, оно
говорило,
говорило охотно с сухими глазами прежде чем их
закрывало.

Говорило.
Было, было.
Мы
не слабели ничуть, мы встали
в середине
пористого строения, и
оно пришло.

Пришло оно к нам, пришло
сквозь нас, латало
невидимо, залатало
до последней мембраны,
и
мир, мириадокристалл,
замкнулся, замкнулся.

*

Замкнулся, замкнулся.

Затем —

Ночь, размешанная. Круги,
зеленый или же синий, красный
квадрат: сам
мир выпустил все сокровенье свое
в игру, в этот новый
час. — Круги,

красный или же черный, светлый
квадрат, никакой
тени полета,
и никаких
мерных столов, никакая
дымодуша не вставала и к нам не вошла.

*

Вставала и

к нам не вошла

В полете совы, близ
окаменевшего струпа,
вблизи
рук улетевших наших, в
последнем отказе,
над
пулеуловом, возле
испеленной стены:

видимые, опять
они, эти
борозды, эти

хоры, некогда эти
псалмы. О, о-
санна.

Итак,
стоят еще храмы. У
звезд
света хватает.
Ничто,
ничто не пропало.

О-
санна.

В полете совы, и здесь,
разговоры, цвета серого дня,
вод грунтовых следы.

*

(— цвета серого дня,
вод

грунтовых следы —

Доставлены в
нужную область
с безошибочным
следом:

Трава.
Трава,
письмо друг по другу.)

DIE HELLEN STEINE

Светлые
камни проходят сквозь воздух, свет-
лобелые, све-
тоносцы.

Им нужно
не рушиться, не низвергаться,
не метить. Они
раскрываются,
как мелкий шиповник, вот так они распускаются,
так парят они
к тебе, моя тихая,
моя верная —:

я вижу тебя, ты их собираешь моими
нынешними, моими
Чьими — угодно руками, ты ставишь их
в Еще-раз сиянье, какого никто
не обязан оплакивать, не должен именовать.

* * *

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

<...>

Относительно двухтомника. Мне очень жаль, что все, что я писала прозой, остается практически неизвестным у нас. И после двухтомника есть важные для меня вещи, разбросанные по случайным публикациям и не встретившие отклика. Дело не в признании — а в том, чтобы что-то пригодилось. Не для себя же я это писала. Жизнь идет другой дорогой, литературная жизнь особенно. Я надеюсь, что наша связь не оборвется. Всего Вам доброго!

Ваша

ОС

* * *

Дорогой Влад <...>

История с Кривулиным, увы, обычна. Что ему делать рядом с нынешними звездами — вроде N.N. и M.M.? Вот это нравится и обсуждается. Скоро, числа 12—14 июня в Москве вдова Кривулина собирается устроить вечер в его память, точнее, чтения*. Посмотрим, кто придет. Вероятно, о публичности теперь стоит думать не больше, чем в нашей молодости — о месте в официальной литературе. Желаю Вам всего доброго!

Ваша

ОС

* * *

Дорогой Владислав <...>

Мне понравилась Ваша «Скудельница». Спасибо. А Кривулин — да. Очень скорбно, что и он, и другие поэты запрещенного поколения после Бродского совсем не вышли из тени. С либерализацией явились на свет главным образом мародеры. Жаль следующих поколений, которые не знают, что пишут после Кривулина, Л. Аронзона, Е. Шварц... да и меня грешной**. Я когда-то составляла антологию «Бронзового века», может, теперь удастся ее издать. Дела не поправишь, т. е. истории не переписешь, но хорошие вещи не умирают, и слава Богу.

* * *

Дорогой Владислав,

спасибо Вам за письмо и южные стихи. Мне понравилось целиком бестужево-марлинское и еще две строки:

И воду пьешь, как будто дышишь,
И дышишь, словно воду пьешь.

* Виктор Борисович Кривулин (р. 09.07.44) умер 17 марта 2001.

** Об «упущенной поэзии» Ольга Седакова читала курс «Русская поэзия после Бродского» в Стэнфордском университете в 2008 году.

Я заехала в Москву из деревни — и опять туда собираюсь до октября, Бог даст. Там нет телефона, и поэтому связи по e-мэйлу тоже нет. В деревне я занимаюсь исключительно черным трудом, кошу и выпалываю сорняки. Мне досталось в наследство разрушенное деревенское хозяйство и треть гектара земли, зарастающая сорняками неземной силы, так что лопухи нужно рубить топором — честное слово. Уже четвертый год после смерти тети я в одиночку пытаюсь приводить этот хаос в нечто космическое, но земля продолжает произращать волчцы и тернии. Но это времяпровождение для меня — не чистый мазохизм, поскольку красота там тоже неземная. Все, кто меня там навещал, люди, выдавшие виды (например, однажды туда заехал Ле Карре), подтвердят магическую силу этого пейзажа. Рядом с этими зрительными впечатлениями книги меркнут. «Война и мир» выдерживает сравнение. «Квартеты» Элиота, которые я только что перечла, тоже. Но сочинять совершенно не хочется. Я нашла свое место в роли садового рабочего — в Эдеме, но с лопухами и борщевиком. <...>

Прозу после двухтомника я пришлю Вам, но, пожалуйста, уже после деревни. Может быть, я соберу сборник эссе. Если пейзаж позволит.

О постмодернизме. Я знаю И. Смирнова лично и понимаю, почему он вместе с многими готов признать конец творческой эпохи. Не признать этого (или думать о такой возможности с горем) может художник с большим даром — или тот, кто любит эту одаренность в человеке, как С. С. Аверинцев. Вполне возможно, что все это кончится (ведь кончилась крупнейшая эпоха фольклора, почему бы и личному творчеству не кончиться?) — но вопрос: нужны ли будем мы (то есть, человечество) без этого в экономике вселенной? Все совершеннее удовлетворяющие собственные «потребности» — и все? Да, еще пародирующие и деконструирующие всё, что сделали до нас. Положение в самом деле очень трудное, больше, чем в другие времена, требующее от человека, который берется за что-то в гуманитарном творчестве. Одной интеллектуальной и артистической одаренности теперь явно недостаточно. Как ни странно это звучит, требуется величие души. Другое явно малоинтересно. Хотя бы тоска по величию души, как у Элиота. Постмодернизм осужден собственным самодовольством в мелкости. Да он в сущности кончился в мире, только ничего на смену ему не пришло. Я однажды делала доклад «После постмодернизма», но сейчас мне трудно найти текст. Я позже Вам его пришлю. В последнем Континенте должна быть моя речь при вручении степени доктора богословия *honoris causa**. И приветственное слово Аверинцева при этом событии.

* Седакова О. «В целомудренной бездне стиха» // Континент. 2004. № 120.

Пока желаю Вам всего доброго — и прощаюсь до следующего приезда в Москву.

Ваша ОС

* * *

Дорогой Влад,
спасибо Вам за южное письмо и агнца.

Простите, что долго не отвечала — я совсем на днях вернулась, и с радостью бы оставалась там всегда, если бы эта избушка была жилой в зимнее время. Увы. Может, когда-нибудь я Вам покажу фотографии Азаровки — в самом деле, места необычайного. Иностранцы, которые меня там навещали, обычно удивлялись: это совсем другая Россия, говорят, похоже на Умбрию. При жизни бабушки и тети я вела там исключительно созерцательную жизнь. Да, там я писала и Похвалу, да и все почти стихи. А теперь, оказавшись наследницей, вступила в другие отношения с природой. И цветаевское:

Что нужно кусту от меня? —

сразу хочу уточнить: во-первых, какому кусту и, во-вторых, когда. Иногда — выстричь, иногда — полить, а более всего — *мульчировать*. Вот к каким прозаизмам и утилитаризмам я скатилась. Последним моим подвигом была закупка грузовика перегоня, который я же и развозила по саду, кустам и деревьям, которым именно это было нужно от меня. Если бы лет 5 назад кто-нибудь мне пообещал такое занятие, я бы не поверила. Но времени на созерцание среди таких непригожих трудов вполне хватает.

В московской квартире у меня все вверх ногами из-за ремонта. Пришлось пересматривать бумаги, письма, записки, которых десятилетия рука человеческая не касалась. Много неожиданностей. Встретились забытые стихи Сергея Морозова, который покончил с собой в 1985 году, стихи 1984:

Слепая месть? Кривая лесть?
Тупая злоба?
Святая честь! И предпочесть —
во мрак, но — в оба,
и всё в глаза, и всё как есть,
и так — до гроба.

Теперь таких слов не услышишь... В тех страшных временах была прямая провокация благородства. И некоторые на нее отвечали. Теперь, боюсь, даже не видно, где и в чем это благо гибельного шага.

Желаю Вам всего доброго!

Ваша ОС

Владимир Петрович Лапин, который стал нашим посредником, — серьезный поэт, мало изданный до сих пор и не прочитанный.

* * *

Дорогой Влад,
мне опять приходится извиниться за отсрочку с ответом. В этот раз причина ей — смерть Владимира Вениаминовича Биbihина, человека для меня очень дорогого и близкого (трое его сыновей — мои крестники). Читали ли Вы его?

Я пока целиком в этом событии*. <...>

Мне самой не приходится получать почти никаких отзывов на все, что я публикую. Да и Биbihин не слышал отзыва. Это свойство нашей нынешней атмосферы.

Ты им доволен ли, взыскательный художник? —
вот что нам, видимо, остается. Но это совсем немало.

Всего Вам доброго!

Ваша

ОС

* * *

Дорогой Влад <...>

Посылаю Вам мои поминальные заметки о Биbihине. Он был таким же кумиром нашей интеллектуальной молодежи в 90-е, как Аверинцев — для моего поколения. Об Аверинцеве я всегда думала как о первом читателе: то, что пишу, Аверинцеву покажу. А о Биbihине — как о первом слушателе того, что приходит в голову: надо Биbihину рассказать (не обсуждая их автономного значения). Осталась у меня последняя совсем близкая душа — Анна Шмаина-Великанова (она библеист и историк церкви). О ней первой я вспоминаю, когда надо посоветоваться: Анюту спрошу.

Поздравляю Вас с первым Рождеством и с Новым Годом.

Всего Вам доброго.

Владимир Вениаминович Биbihин

Нигде как в целом мире не может иметь место существо человека, чистое присутствие с его основной мелодией, молчаливым согласием.

В. В. Биbihин. Мир.

Оборванное еще так близко, еще совсем здесь, так что множество картин, жестов, интонаций, сцен появляются рядом: одно, другое, третье. Владимир Вениаминович на крыльце дома, который он сам в одиночку

* Владимир Вениаминович Биbihин (р. 29.08.38.) умер 12 декабря 2004 года.

построил, в летней темноте, со скрипкой. Владимир Вениаминович за рулем в своей уже почти самодельной машине. Среди мальчиков: «Господа! кто идет за водой?». Владимир Вениаминович в больничной постели после операции с «Илиадой» по-гречески. Обрадованный и радующий голос в трубке: «Ольга Александровна?».

Эпизоды «из жизни» вспоминаются первыми — раньше, чем сочинения и мысли. Владимир Вениаминович был предан философии, которую многие профессиональные философы (собственно говоря, историки философии, критики и аналитики разнообразных готовых философских систем) сочтут «уже невозможной» — философии, которая есть образ жизни, место жизни, есть наше присутствие в мире, так, как это было для Сократа или Киркегора.

Мир — быть может, главное слово мысли Бибихина.

Мы еще не знаем этой мысли во всем ее размахе: очень многое из того, что он писал, до сих пор не опубликовано, опубликованное не обдумано читавшими и не объединено в целое (ведь предметы его мысли так разнообразны, так по всей видимости далеки друг от друга: кто еще мог бы писать о Паламе — и о Беккете, о петровских реформах — и о санскритских гимнах, о Макарии Египетском — и о Витгенштейне: писать не только с полным знанием дела, но *не меняя голоса*?). И сама его мысль, и пути ее изложения слишком далеки от наличных дискурсов — и от «научно-философского», «предметного», и от журналистского размышленчества, затопившего все в последнее десятилетие. Даже неожиданное слово Мераба Мамардашвили легче идет навстречу читателю, проще смыкается с нашими привычками понимания: ага, вот постулат! Если у Бибихина есть постулаты, то это постулат недоумения и постулат ускользания, речь его никогда не доходит до той точки, где ее можно ухватить, сделать формулой и затем успешно «применять». Кажется, что он просто дал обет никогда не произнести такого *применяемого* слова. Еще не отыскано самое приблизительное определение для его мысли. Что это: русская феноменология? Сам он в разговорах порой давал понять, что относит свои занятия к богословию: но к богословию в том смысле, в каком об этом говорят, рассуждая о Хайдеггере. К богословию в античном смысле, к богословию Начала, о котором еще ничего не решено. К нынешнему моменту мы совсем не готовы обсуждать это. Встреча с мыслью Бибихина только начинается. Начинается его другое присутствие. Первое кончилось.

Голос Бибихина услышали поздно. Вплоть до конца 80-х годов его знали как виртуозного переводчика сложнейших авторов: Кузанского, Паламы, Ареопагита, Хайдеггера, Витгенштейна. Собственные труды дожидались своего времени. Древние и новые языки он знал превосходно. Язык, слово составляли постоянный предмет его мысли. Одним из глав-

ных, определяющих людей своей жизни он считал нашего великого лингвиста А. А. Зализняка. Затем — Сергея Сергеевича Аверинцева. В позднейшие годы он продолжал переводить: большой том Ханны Арендт, новые переводы из Витгенштейна и Хайдеггера. И издавал книгу за книгой: «Язык философии», «Мир», «Узнай себя», «Новый Ренессанс», «Слово и событие», «Другое начало», «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев». Эти книги по преимуществу составляли курсы, которые он читал в Московском Университете с 1989 года, и выборки из дневников, которые он вел непрерывно. Еще многие курсы («Пора», «Новое русское слово» и другие) остались в рукописи. Лекции Владимир Вениаминовича были событием; его воздействие на слушателей было огромным, почти магическим. Те, кому довелось слушать его ни на кого не похожие беседы в юности, никогда уже не освободятся от этого опыта вопрошания вещей, от категорического императива «неопертости», то есть принятого на себя риска выяснить всё с самого начала, на очной ставке с собой и миром, не прячась за готовые решения, определения, классификации, начиная с точки полного неведения, «амехании» (недоумения) и в качестве познавательного инструмента избирая только собственную чуткость.

Как все мы, выросшие в крайней несвободе идеологического государства, Владимир Вениаминович страстно любил свободу. Само собой разумеется, из этого следовал его нонконформизм, порой вызывающий и куда более обширный, чем, скажем, у Сергея Сергеевича Аверинцева. Он держался совсем в стороне от внешнего успеха, от всякой формы этаблированности. Ему нужен был другой успех (производный от глагола «успеть» во всех его значениях) — тот успех, к которому направлен мир, которого ищет природа: успех как исполнение задания, попадания в свое место в мире и в свое время. Место человека, узнающего себя. Это место было связано для него с каждым моментом жизни. Этим местом был его дом, его необыкновенная семья, Ольга, дети. Этим *своим* местом в мире была для него Россия — я думаю, самая глубокая его любовь.

Мир, с которого я начала вспоминать его, он мыслил во всей широте значений этого русского слова: мир-согласие; мир-общество; мир-мироздание. Его философия начинала по существу большую апологию мира, апологию вещества, своего рода космодицею, хронодицею, зоодицею. В свои оправдания здешнего он включал не только то, что могут сообщить гуманитарные науки, поэзия, живопись, музыка, но и современная физика, математика, астрономия, биология.

Человек, вырывающийся на свободу из тесноты, обычно видит свободу как возможность отказа, сопротивления, битвы, возможность ухода. Владимир Вениаминович знал другую, глубокую свободу: свободу согласия, принятия, прихода, возвращения — свободу мира.

— Все пройдет. Все будет хорошо, — вот последние слова, которые я от него слышала за несколько дней до кончины.

И быть может (вспоминая разговор о философии и богословии), его мысль была обширным истолкованием завещанного нам приветствия: «Мир вам!».

Ольга Седакова

* * *

Дорогой Влад,
сегодня мы хоронили Владимира Петровича Лапина*. Хотя он много лет хворал разными хворьями, но конца никто не ждал. Я не успела опомниться от предыдущих похорон, после которых слегла в тяжелом гриппе и до сих пор не поправилась.

Спасибо Вам за письма Лапина. Да, он собирался писать Вам что-то вроде подробной рецензии, об этом он говорил накануне смерти по телефону, но написать не успел. <...>

Ваша ОС

ТОН

Памяти Владимира Лапина
(1945—2005)

Я слышу тон, все время слышу тон.

Вл. Лапин

Владимир Петрович Лапин — мой самый давний друг Володя Лапин — умер через пять дней после того, как ему исполнилось 60 лет. О его юбилее не было нигде и никак упомянуто: разве что как раз к этому дню, по чистому совпадению, вышла большая подборка его стихов в «Континенте» (№ 122). Многолетняя работа Лапина в русской поэзии осталась почти незамеченной. Вундеркиндное начало (детские стихи Лапина одобряли и цитировали Маршак и Чуковский; первая его книга, «Тетрадь Володи Лапина» вышла, когда автору было 16 лет, а стихи, вошедшие в нее, он написал в 12) — и затем десятилетия полного отсутствия в публичной литературной жизни. Стихи его не публиковались в советские годы, когда Лапин был близок правозащитным кругам; в новые времена выходили подборки в толстых журналах («Дружбе народов», «Знамени», «Новом мире», «Континенте»); были изданы две небольших книги — «Сверчок» (М.: Carte blanche, 1993) и «Тон» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2003). И, хотя обе эти книги без малейшей рекламной поддержки быстро исчезли с при-

* Владимир Петрович Лапин, поэт (1945—2005).

лавков, реального присутствия поэта Владимира Лапина в современной словесности так и не сложилось. Критики и активисты литературного процесса были заняты другим.

Среди поэзии «новой волны», на фоне раскрепощенного «актуально-го искусства» последнего десятилетия голос Лапина был настолько же неуместен, как и во времена подцензурной словесности. Поздно говорить о том, что голос этот был достоин куда большего внимания, а сам говоривший — не таких ужасающих условий жизни (менее обеспеченного человека среди моих небогатых друзей и знакомых не было). Не трудно надеяться на то, что рано или поздно это заслуженное внимание к тому, что писал Владимир Лапин (а он не переставал писать до последних дней), еще придет, что его неопубликованные сочинения будут собраны и изданы. Лапин пришел в русскую поэзию со своим тоном, а такие вещи случаются не часто — и даром не проходят.

Я начинаю с этих печальных обстоятельств не для того, чтобы укорить современников и собратьев: скорее, чтобы выразить нашу общую вину перед ушедшим. Обида художника состоит не в том, что ему чего-то не дают, чего-то не додали — но в том, что у него не взяли, не приняли того дара, с которым он пришел. Владимир Лапин был из тех, кто всей душой предпочитает давать и помогать — а не брать и просить помощи. Он знал и чувствовал, что у него есть свой читатель, что есть те, кому его стихи принесут то, что может приносить человеку поэзия:

и вещее «ау»,
И вера в то, что в мире не одни мы,
И сопряжение с еще незримыми родными...

С ранних стихов Лапин воспринял урок Бориса Пастернака («Доктор Живаго» был одной из главных книг его жизни, да и в самой смерти его — на ходу, на людной улице — поневоле слышится эхо гибели Юрия Живаго): поэзия без прикрас, без романтической позы и богемной безответственности, без «лирического героя», очаровывающего читателя своей беззащитностью и наивностью. Поэзия, в которой быт не отделен от бытия и «все символично, поскольку значительно». Поэтический словарь без поэтизмов, приближенный к обыденной речи. Деталь, вдруг обретающая вселенский размах, — точнее: частность, втянутая в движение к целому:

У музыки нет малозначимых нот.
Движенье вселенной содержит полет
Осенних дворов, недомытых и тухлых,
Старушек в давно уже свихнутых туфлях,
Того, что грызет голодающий кот,
Ужавшись на средней ступеньке подъезда;
Всему свое время, всему свое место,
Но это еще не последний исход...

Уже в юности Лапина привлекала позиция взрослого, многое пережившего и многое обдумавшего человека. Его привлекала серьезность — вещь как будто не слишком поэтическая. Но эта взрослость никак не означала разочарованности и скепсиса: нет, это

Пытливый ум, сочувствующий взгляд
И сердце, принимающее близко —
и это готовность:
Старое сердце — болящая область, готовая
к горькому дыму, подобно былому вулкану —

и это ожидание до последнего часа — и даже после него, как в последних опубликованных стихах Лапина, «Vita aeterna»:

Жду, не заметив того, что пришла —
И не торопится, и не торопит.

Ожидание целого — то есть бесконечного, неизмеримого, неисчислимого, вход в которое может открыться в чем угодно — например, в запахе полыни:

Ему одно — простор и щель,
Ему равно малы
И мир известных нам вещей,
И дальние миры.

«Прозаизмы» Пастернака и некоторые другие черты его поздней манеры вошли в общее письмо благополучной советской поэзии поздней эпохи. На «постпастернаковском» языке писали все «думающие» официальные поэты. Но это было не ученичество, а досадное воровство. Никакого внутреннего сродства с великой смелостью Пастернака в этих авторах не было. Их «прозаизмы» ничего не заземляли — поскольку и заземлять-то было нечего. У Лапина — и там, где сюжеты его совершенно натуралистичны и почти сатиричны, — речь идет о музыке, о странных и таинственных догадках, о проникнутости всего всем. Его поэтическая погода — ветер, ливень, выюга, буран: состояние мира, слившегося с движением. Самые сильные его стихи воплощают это нарастающее движение, его порывы, его густоту — самой своей ритмической и звуковой плотью:

Измотаны яблони, яблоки сбиты на грядки —
Десятки незрелых плодов и еще раз десятки,
Их пачкает, моет и прежнею мутью кропит...

Здесь русский стих вдруг вырастает из своей бытовой ветоши и становится величавым, как в старые времена:

...ни вору, ни гостю
Ни ветер, ни дождь не уступит стези.

Да, больше всего в стихе Лапина я люблю эту подспудную, только его голосу дающуюся музыку, которая несет деталь за деталью, мысль за мыслью — и мы физически чувствуем, как

...саму
Ее затягивает, вопреки желанью,
В немислимое мирозданье,
В свет и во тьму.

И это совсем не пастернаковская музыка. Она тяжелее, порывистее, она огибает какие-то полыньи и воронки, и ее финал выводит в головокружительную, я бы сказала, голодающую бесконечность:

Пространства оправданный голод
Глокает меня, как слюну.

Так — загадочно — кончается замечательный диптих «Зимняя наука»:

Тогда уж держись: если в наших землях кто и воскрес,
То дело было — зимой.

Быть может, самому Лапину было дороже в собственных стихах другое: мысль, которой он очень дорожил; герои его стихотворных новелл — новые люди в русской лирике, такие, как заблудившаяся марийка, Петр Петрович, подозрительная бабка из городского захолустья, путеукладчица — хозяйка бульдога по кличке Гиацинт...

старые мальчики, девочки, дядьки и тетки,
Отцы и мать-мачехи, вовсе не демоны: бывшие умницы и идиотки.

О Пушкине — сравнивая его мировоззрение с чистым пиетизмом Жуковского — кто-то сказал: опыт вдохновения и был его религиозным опытом. В определенном смысле то же можно сказать об опыте Владимира Лапина. Догматическая, церковная религиозность оставалась ему чуждой и практически мало известной: но в поэтической работе он находил свое общение с иным, с родным бытием — и порой прозрения его были поразительно глубоки. Продолжим вспоминать стихи, которые мы произвольно оборвали:

Но это еще не последний исход —
И сдавленный голос, когда он без фальши,
Содержит предчувствие много как дальше
Житейских невзгод.

Под скрипы текущих долгов и расплат
Он помнит Голгофу и знает разлад

Гвоздя с бытием и греха с преисподней:
Тесней для него все равно что свободней,
И подлинно волен лишь тот, кто распят.

Каждый, кто сложил хотя бы одну строфу, после которой поэзия стала богаче, достоин благодарной памяти. Владимир Лапин сказал немало такого, за что мы навсегда останемся благодарны ему — и тому движению, тому «тону», который его вдохновлял.

Ольга Седакова

П р и л о ж е н и е

«Когда мы встретились, я училась в 9-ом классе, мне было 16 лет, а Володя уже работал в журнале «Пионер», где вел отдел детского творчества. Для нас всех, школьников (это был круг около-смоговский), собрания назывались «Мишкины пятницы», он был взрослый и серьезный человек (ему был в это время 21 год). После этой «пятницы» мы бродили по городу, и через много лет он мне сказал: «Помню Ваше белое пальто на черной Красной Пресне.

(Из письма О. Седаковой М. В. Серовой от 14.11.09)

* * *

Дорогой Влад,
спасибо за Ваше поздравление! Меня в самом деле порадовала эта неожиданная честь — *chevalier d'honneur**. И французская поездка, хотя и очень нагруженная и пестрая, отвлекла от непрерывных московских похорон и поминок. Но вернулась я как раз, когда началась агония Папы, и об этом я и думаю последние дни. Вы, наверное, знаете, что у меня есть личные основания его почитать и любить. <...>

Всего Вам доброго!

Ваша ОС

* * *

Дорогой Владислав,
хорошо, что Вас надумили послать мне Ваш Триптих. Очень серьезная вещь. Поздравляю! <...>

* Титул Кавалера Ордена Искусств и словесности Французской Республики *Chevalier d'Honneur* был присужден Ольге Седаковой в 2005.

Владислав Шихов

СТРАВА

Триптих

Кто назовет, как звезды, имена?

1

Смеркается на Северном кладбище.
Пусть из горла, но помяни, дружище,
Всех тех, кто выжил в яростном бою,
Но в госпитале принял смерть свою,
Отложенную ровно на мгновенье.
И плеск волны, и ветра дуновенье,
И на ладье отправленный Тристан —
Всё это ложь. Когда умрешь от ран,
Узнаешь, какова она, дорога
От тела неподвижного до Бога.
Кровавая железная кровать
Идет ко дну, начнешь лишь отплывать.
И происходит это погруженье
Как самое большое пораженье.
Придя сюда, ты сделал верный шаг.
Доподлинно, что скорбь твоя как стяг
И горькая горбушка каравая.
Деревья словно песня хоровая.
Как хорошо, что сей живой навес —
Не вечное безмолвие небес,
Но словно бы посланье роковое.
Чу, из глубин бредет собака, воя.
И долго лает, различив тебя
На фоне золотого сентября,
Но после безвозвратно пропадает.
Какая пустота тебя снедает!
Знать, сердце, как мутант и паразит,
Само себя наверно поразит,
Когда такая выпита отравя.
И тризна по-славянски значит страва.
И группы крови нет на рукаве,
Но, прежде чем забудешься в траве,
В последние минуты посещения
И честь воздай, и попроси прощенья.
И, обходя, как сторож, Элизей,
Свою тоску, как польмя, залей.
И поклонись Отчества солдатам,
И назови по именам и датам.

2

Пусть невозможно подобрать слова,
Но всё же здравствуйте, Кузьмин В. А.,
Рожденный в год восьмой начала века

И в сорок третьем сломанный, как ветка,
Не знаю где, возможно, под Москвой
В отчаяньи атаки штыковой —
Лишь мама не поверила в Сибири,
Что сына драгоценного убили.
Земная неизбывная юдоль!
Охотников, Давыдов, Самидоль,
Худойвердинов, Куреня, Успенский,
И вы сопровождали бой вселенский,
Как редкое биение сердец
Сопровождает время под конец —
Ни ангелов тебе и ни хоралов.
Вот рядом рядовой А. Генералов.
Что он успел за восемнадцать лет,
Пока хирург не сократил скелет
По кость бедра остановить гангрену?
Не принимая эту перемену,
Никак не мог поверить: «Это всё?
А как же предсказание ее?».
«С такой фамилией до генерала
Дослужишься», — невеста повторяла.
Когда бы грудь напополам рассечь
И сердце, как детеныша, извлечь,
Закутать в шелк и в шкуры трех оленей
Под Lacrimosa горних песнопений.
А тело, чтоб блистала белизна,
Обмыть настоем перца и вина.
И в мраморном гробу до Волгограда
Везти домой, как храброго Роланда.
Хотя о чем ты? Это ведь война
Другая и другие времена.
Да ты и сам совсем не нужен веку
С твоим последним словом имяреку.
Но всё же продолжай, в конце концов.
Верлинская, Черемушкин, Кольцов,
Леонтьев, Белкин, Фофанов, Трофимов.
Лишь нету шестикрылых серафимов.
Унисбург Сокол в возрасте Христа —
И вечный свет, и тень, и сирота.
А Пушкин Н. в своем пути недлинном
Был истинным поэтом — гражданином.
И наконец-то после всех, как знак
Особенный, проявится сквозь мрак —
Лишь с буквы листик убери без страхов —
Не может быть, что лейтенант В. Шахов,
Не может быть, что, завершив войну,
К народу приложился своему.
А ты подумал уж, признаться, вчуже...
Но, Муза, промолчи об этом муже.

Как странно, что по истеченье дней
Твоей душе становится больней.
И возвращаются невольно строфы,
Как ощущения после катастрофы.
И неизвестно через сколько строк
Ты переступишь болевой порог.
Казалось бы, невыносимо больше,
Но разум благодарен этой ноше.
Когда бы были взвешены твои
Слова о верности и о любви
И о разлуке, как о скорбной чаше!
Но всё же этой ласки нету сладше,
И пусть происходящее с тобой
Как в окружении неравный бой.
И вот теперь пред Богом, как пред морем
Вздыхающим то вечностью, то горем,
Post scriptum и post mortem говоришь,
Как будто бы над бездною паришь:
Смеркается на Северном кладбище,
Но нам ли отступать с тобой, дружище.
Приди же, дух, от четырех ветров
И возложи на кости, как покров,
Материю и кровь из ниоткуда,
И то, что полагается для чуда.
Пусть в полной мере испытует плоть,
Что в самом деле Слово есть Господь.
Пусть триумфально всадники и кони
Идут домой, как заклинают корни.
Хотя о чем ты? Ведь ни ты, ни я
И ни архангел, и ни судия.
Лишь в глубине какое-то движенье...
Не может быть, чтоб было продолженье,
Не может быть, чтоб не было его.
Прости, вкусивший смерти торжество,
Печальный мир, мучительный и страстный,
Болезненный, бессмысленный, прекрасный,
Божественный, где столько дорогих
Останется, не воплощенных в стих.
Прости, что я забыл, она забыла.
Так удивительно, что это было,
Как новая взошедшая звезда,
И не случится больше никогда.

Сентябрь—октябрь 2008